

**В.В.СЕРБИНЕНКО**

**ОБ УТОПИЧЕСКИХ МОТИВАХ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ГОГОЛЯ**

---

Сербиненко Вячеслав Владимирович — доктор философских наук, профессор кафедры истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета.

---

Обостренное чувство значимости общественного идеала — характернейшая черта русской литературы, и уже поэтому столь органично и широко в ней представлена литературная утопия. Достаточно рано на русской почве начали раскрываться разнообразные возможности жанра: консервативный утопический проект М.Щербатова "Путешествие в землю Офирскую..." — первый в России определенный опыт литературного утопизма, философическая фантазия В.Левшина "Новейшее путешествие...", написанные в форме утопии "Европейские письма" В.Кюхельбекера и сатирический гротеск его же "Земли Безглавцев", фельетонная фантастика О.Сенковского, яркие негативные утопии В.Одоевского: "Город без имени" и "Последнее самоубийство", его фрагмент "4338-й год".

Сами произведения раннего русского утопизма также обнаруживают внутреннюю сложность и разноплановость.<sup>1</sup> Следует заметить, что это отвечает логике современного понимания принципиальной неоднородности утопического жанра, определенной амбивалентности даже его классических образцов. Формируя представления о сложной природе жанра, подобный взгляд на утопию предполагает расширение традиционных литературных границ утопического творчества

Так, если в произведениях, не вполне соответствующих жанровым канонам, утопические мотивы действительно играют существенную роль, то они могут быть поняты не только как некие идейные или идеологические цели автора, но и в их собственно художественном, литературном выражении. В напряженных спорах о природе общественных идеалов, постоянно соотносимых с тем, что А.Григорьев называл "правдой жизни", художественное слово имело исключительное значение и утопизм не мог не стать фактором художественного мышления. Русская литературная утопия не исчерпывается рядом "явно" утопических сочинений, образуя важную особенность литературного процесса.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> На первый взгляд, исключительно идиллическая техническая утопия Одоевского "4338-й год" содержит важный социально-сатирический план изображения. См. подробнее об этом [1].

<sup>2</sup> Своеобразие русской социально-утопической традиции дает достаточно оснований для постановки вопросов, связанных с методологией исследования жанра. Так, американский славист Г. Морсон рассматривает "Дневник писателя" Достоевского как образец метаутопии — вариант утопического творчества, характеризующийся принципиальной "открытостью", осознанной полемичностью и незавершенностью внутреннего диалога [2].

Многое в истории русской литературы уходит своими корнями в творчество Гоголя. Трудно представить, что независимо от этого творчества могло происходить и развитие литературной утопии. Художественный мир поздних сочинений писателя явственно обращен к будущему, и это не будущее "дурной бесконечности", но перспектива возможного подтверждения и оправдания человеческих ценностей и идеалов. Какой бы ни была его позиция — тема утопии для нее не безразлична, и в диалектике русского утопического сознания слово Гоголя должно было сыграть свою роль.

О том, что "Выбранные места из переписки с друзьями" — утопия, писал в свое время В.Гиппиус [3]. Отводя книге Гоголя место в ряду русских утопических сочинений,<sup>3</sup> он усматривал смысл этой "фантастической утопии" в продолжении традиции сентименталистских идиллий и постулирования идеала патриархального прошлого, "золотого века". (Образец для современности — патриархальные отношения "Одиссеи".) Указанием на связь с традицией сентиментализма характеристика Гиппиусом "Выбранных мест..." как литературной утопии фактически ограничивается.<sup>4</sup> Своеобразие гоголевского утопизма (никем, по мнению исследователя, не замеченного) сводится им к идеологической задаче "сближения" славянофильских идеалов с утопическим социализмом 1840-х годов, в результате чего и рождается утопия — "призрак", фантастическая "смесь" реакционно-социалистических идей [3, с. 180-184].

И действительно, при таком прочтении писем Гоголя можно говорить разве что о "логике безумия" (что и делается неоднократно) либо о наивной эклектике. Но аргументация Гиппиуса, по сути, исчерпывалась ссылкой на замечание писателя в завершающем книгу писем "Светлом Воскресении": многие просто грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека. Гоголь, конечно, не осуждает утопические грезы ("любимые мечты молодого человека"). Напротив, он склонен ценить идеализм и искренний пафос социального утопизма, и такая позиция для русской культурной традиции совершенно органична. (Например, Вл. Соловьев именно в этом смысле писал о моральной оправданности, "правде социализма".) Но от подобного признания до возможности принятия идеологии утопического социализма 1840-х годов еще далеко. И в содержащейся в "Светлом Воскресении" знаменитой оценке Гоголем XIX века никакого идеологического смещения нет.

Писатель показывает, как замыкается круг превращений "признанных идеалов" XIX века: мечты об общечеловеческом братстве, ставшие предметом разговоров в модных гостиных, легко обнаруживают свою "бедность"; прокламируемая любовь к абстрактному человечеству ничего не меняет в формализме моральных отношений и оборачивается "гордостью" собственным идеализмом; от поклонения разуму ("гордости ума") оказывается один шаг до признания законодательства "ничтожной моды" и "чистой злобы" интеллектуального фанатизма, символом бесперспективности подобных идейных

<sup>3</sup> Об утопизме книги Гоголя в современных западных исследованиях см. [4].

<sup>4</sup> Близкие оценкам Гиппиуса выводы делает американская исследовательница Р.Собел [5].

исканий становится в "Переписке" "исполинский образ скуки". Пафос Гоголя можно было бы рассматривать как антиутопичный, если бы пародировались сама мечта о "преобразовании человечества", идеал человеческого братства. Мечта оборачивается идеологической "скукой", но причину этого писатель ищет не в природе самой мечты. В "Светлом Воскресении" утверждается возможность выхода из "порочного круга" идеологических блужданий, причем из любой его точки.

Вопрос о утопизме "Переписки" тесно связан с традиционным вопросом о месте данной книги в творчестве Гоголя. При всем разнообразии конкретных подходов к проблеме (особенно в западной славистике) типологическое их ограничение вполне возможно. Различные варианты отрицания органичности развития гоголевского творчества в конечном счете тяготеют к тезису о "двух Гоголях" и представляют для оценки поздних идеалов писателя крайне ограниченный выбор: в любом случае последние его произведения оказываются идеологическим привеском к предшествующему, "чисто" литературному творчеству. Цельность образа Гоголя может быть сохранена благодаря пониманию закономерности его духовной эволюции. "Переходность" (а следовательно, и необходимость) "Переписки" подчеркивает И.Золотусский в своей книге о Гоголе. Авторы обзора о западном гоголеведении, определяя книгу Гоголя как "морально-административную утопию", в то же время высоко оценивают нравственную логику выбора писателя, избравшего "неорганичную для себя форму передачи идеала" [4, с. 156].

Однако стремление к целостному истолкованию творческого пути Гоголя не исключает признания его "поражения" и как художника, и как мыслителя. Классическим примером этого служит предложенное Д.Мережковским на редкость универсальное объяснение гоголевского творчества [6]. Категорически настаивая на последовательности духовных исканий Гоголя ("в "Переписке" он шел тем же путем, которым шел всегда") и интерпретируя "недогматизм" его религиозных размышлений в свете собственных целей религиозного реформаторства ("от христианства старого, темного, исключительно монашеского... к христианству новому... вселенскому... таков путь общий у Гоголя с нами"), Мережковский "с легкостью необычайной" признает, что "внутренней провал "Переписки" соответствовал внешнему" и вносит свою лепту в традицию разоблачения писателя: "Размахнулся Хлестаковым, обернулся Чичиковым. Вместо громового удара — звонкая на всю Россию оплеуха самому себе" [6, с. 158].

Редкая самоуверенность Мережковского, передергивающего поразительную по своему нравственному значению гоголевскую самооценку, мгновенно оборачивается против него самого. Это он, задавшись целью представить Гоголя предтечей "нового", "неисторического" христианства, завершает достаточно банальные комментарии гоголевских воспоминаний о посещении Назарета своего рода анафемой писателю: "Ведь и Гоголь в христианстве своем отрекся от земли, проклял землю, — не потому ли и в Святой Земле нашел он землю не святую" [6, с. 167]. В целом у Мережковского концепция "двух Гоголей" предстает в форме обоснования изначальной и роковой (взгляд Кая) двойственности

художественного дара и мировоззрения писателя.

Гораздо больше единства в творчестве Гоголя допускает позиция В.Набокова, видевшего в "Переписке" естественную неудачу писателя в новом и не свойственном ему жанре. Не спекулируя по поводу драматизма судьбы художника,<sup>5</sup> Набоков связывал появление "Переписки" с задачами, вставшими перед Гоголем-писателем: "Гоголь стал проповедником, потому что нуждался в объяснении этики своих книг..."[7]. Для Набокова ценность творчества абсолютна. Сожалея об утрате Гоголем "дара воображения фактов", Набоков оценивает его религиозный опыт исключительно по литературной шкале: "Религия давала ему нужную интонацию... Сомнительно, давало ли это ему что-нибудь еще"[7]. При всей подчеркнутой отстраненности оценок выбора, который сделал горячо любимый им писатель (выбора самому Набокову безусловно чуждого), в них есть понимание сложной логики художественной эволюции Гоголя, определившей в конечном счете закономерность его последних сочинений.

Искать связь идеалов "Переписки" с художественным миром предыдущих гоголевских книг ("прежде всего "Мертвых душ") заставляет элементарное доверие к мнению самого писателя. В "Авторской исповеди" Гоголь [8] настаивал на естественности литературного рождения ("обрадовался тому, что расписался кое-как в письмах") и видел в ней продолжение и углубление той рефлексии о смысле собственного творчества, начало которой связывал с работой над поэмой. Как бы строго ни судил писатель впоследствии свою "Переписку", признать правоту тех, кто однозначно идеологически ее интерпретировал, он не хотел: "В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желание добра... Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью" [8, с.37, 39].

Расхожий тезис о гениальном художнике, но слабом мыслителе слишком часто играл роль некоего универсального ключа при объяснении сложности творческих судеб многих русских писателей (причем нередко сочетаясь с признанием философичности и особой интеллектуальности классической русской литературы). Однако, если не следовать этой логике и не ставить под сомнение значение мыслей Гоголя о собственном творчестве, возможность органической связи утопических мотивов "Переписки" с содержанием его поэмы представляется вполне реальной.

Сатирический взгляд, неотъемлемый компонент истории литературной утопии, по-разному проявляет себя в утопической классике (неявная ирония моровской "Утопии", сатирический гротеск сложной фантастики Свифта и наиболее радикально — в формах новейших антиутопий и дистопий). Отличительная черта поэмы Гоголя — соединение сатиры с тем, что В.Белинский называл "гуманной субъективностью" и в

---

<sup>5</sup> Содержащийся в набоковском эссе вывод об угасании гоголевского таланта не более чем отражение известного признания самого автора "Мертвых душ": "оставила меня способность производить создания поэтические".

чем видел существо лирического пафоса всего произведения. В единстве с задачами сатирическими "субъективность" "Мертвых душ" отражает не только "пафос действительности, как она есть" (Белинский), но и мечту о ее будущем преобразении.

Вопрос об отношении к будущему становится центральной темой размышлений Гоголя в "Переписке". Он глубоко чувствовал опасность обесценивания "настоящего", реальной жизни (жизнь — постоянный предмет его искусства, неоднократно подчеркивал писатель) поклонением идеальным целям, "светлому будущему".<sup>6</sup> Но не сами по себе надежды на будущее вызывали у Гоголя протест, а "односторонность" признания "распада связи времен" как неизбежного и непреложного факта: "От того и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее... Безделицу позабыли: позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем..."[9, т. 7, с. 114, 115].

Этот вывод не был для Гоголя чем-то принципиально новым. Аналогичные мысли содержат многие страницы его поэмы (например, где он пишет о "лицемерных призывах добродетельного человека"). Можно даже сказать, что Гоголь в письмах подтверждает свое основное творческое кредо. И сделать это его заставило прежде всего чувство реальной сложности собственных сочинений, которые, как он считал, "почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла". Гоголь, упрекая в этом себя, пишет о несовершенстве "Мертвых душ".

Сам факт беспощадного разбора художником перед всей Россией литературных недостатков собственного гениального сочинения — нравственный пример, значение которого невозможно переоценить. Но, осуждая себя и как писателя, и как человека, Гоголь защищал правду своего творческого пути и, не в последнюю очередь, свое понимание единства исторического времени. Как художник "жизни" Гоголь чувствовал связь времени только в живых человеческих судьбах, как мыслитель он считал себя вправе судить о перспективах будущего только на основе личного духовного опыта. Жизнь для Гоголя — это развитие, но развитие нравственное. И в поэме, и в "Переписке" исходная позиция у писателя одна и та же.

Ф.Бухарев, религиозный мыслитель, стоявший у истоков религиозно-метафизического истолкования творчества писателя, видел в "Переписке" как бы обращение к героям "Мертвых душ"[10]. Действительно, вне своего творчества Гоголь и не мог вести диалог с "реальностью", в котором нуждался. В "Переписке" писатель вновь обращается к "запутанному настоящему", моральный смысл его будущности и образ "настоящего" в поэме становится исходной точкой этих поисков будущего. В "Письмах" Гоголь отнюдь не отрекается от жизни, земли (как полагал Мережковский), но еще раз подтверждает то, о чем ранее писал в "Мертвых душах": жизнь сама по себе, без своего нравственного развития ведет не к "светлому будущему", а к своей противоположности — к

---

<sup>6</sup> Позднее П.Флоренский назвал критикуемый Гоголем тип сознания "перспективизмом".

"омертвелости", к смерти. Гоголевский "страх смерти" (так легко и удобно сводимый к аномалии) получил в его творчестве столь ясное художественное, нравственное и философское оправдание, что нельзя не видеть: с точки зрения писателя совершенно противоестественно как раз иное существование, забывающее о неизбежности конца и легко утрачивающее какие бы то ни было черты подлинной человеческой жизни.

Наблюдая пошлость в русском обличье, Гоголь утверждал, что ее нечеловечность и абсурдность нигде не обнаруживаются так явно, как на русской почве. Ничто в России: ни национальный характер, ни язык, ни само пространство не отвечает пошлостному сознанию, и именно поэтому последнее действует как нелепая и смертельная эпидемия, калеча и убивая живые души. Теряет человеческий облик в своем духовном прозябании несчастная старуха Коробочка; монстром жадности делает духовное одиночество Плюшкина; "богатырь" Собакевич оборачивается "бессмертным Кашеем", а добряк Манилов — безжизненным фантазером. Страдает, носясь как оборотень по России, даже приспособившийся "предприниматель" Чичиков.

Только национальных особенностей оказывается явно недостаточно, чтобы противостоять натиску пошлости. Однако в возможность нравственного выздоровления своих героев Гоголь, как известно, верил, а с преодолением пошлости во многом связывал веру в историческую судьбу России, в ее будущее.

"Мертвые души" — безусловно, не антиутопия, мир героев поэмы — не ад, а Чичиков — не пародия на традиционного утопического вожатого и уж, конечно, не антихрист (по Мережковскому). Беспредельности российских пространств в книге соответствует открытость будущего, сохраняющая права утопической мечты. Прочтение поэмы как сатирической пародии на национальный идеал беспокоило Гоголя, может быть, более всего. И в "Переписке" он стремился объяснить суть своей творческой позиции: "Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращение от ничтожности, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному"[9, т. 7, с. 86]. (Здесь Гоголь продолжает разговор с читателями, начатый в "Мертвых душах": "Вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность...".) Писателя волновал нравственный смысл собственного сатирического изображения российской "пошлости", а не упреки "патриотов" типа Кифа Мокиевича с их "недумающими глазами", страхом "гласности" и "мнения иностранцев". В "Переписке" Гоголь готов признать даже "карикатурность" своей поэмы, оправданную однако, с его точки зрения, опасностью изображенного явления, причем не только для настоящего, но и для будущего.

Писателя критиковали за "учительство" и "пророческий" тон, но он действительно обладал даром предвидения и чувствовал, что пошлость, если с ней не бороться, может посягнуть и на будущее страны. И в "Мертвых душах", и в "Переписке" утопическая тема предупреждения, не обретая однозначных черт антиутопии, играет существенную роль, во

многим определяя внутреннюю полемичность и открытость гоголевских произведений.

Сам Гоголь постоянно подчеркивал, что "Переписка", рассчитанная на диалог, основывалась на личном опыте творчества и отношений с людьми и никак не являлась суммой поучений и предписаний: "Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне мое собственное мнение... Даже в нынешней моей книге: "Переписка с друзьями", в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней все выводы..."[8, с. 8]. И почему бы не прислушаться к мнению самого писателя? Во всяком случае, нравоучительный тон отдельных писем еще ни о чем не говорит, ведь по воле автора они — часть произведения. Впечатление же монологичности книги гораздо в большей степени создают пронизывающие ее исповедальные мотивы. Формальное соответствие "Переписки" и поэмы — особая проблема. Ю.Тынянов писал даже о "полном совпадении приемов". Но выступивший в письмах на первый план автор, делящийся своими глубоко личными сомнениями и в то же время настаивающий на истинности принятых им идеалов, в главном продолжает авторскую линию "Мертвых душ".

Учитывая опыт последующего развития утопического жанра, можно сказать, что Гоголь надеялся своим дальнейшим творчеством (в последующих частях "Мертвых душ") исключить всякую возможность понимания его поэмы как антиутопии. Но в действительности ему пришлось сделать выбор: задача изображения настоящего, в перспективе однозначно положительного ("светлого") будущего легко могла привести к такому варианту утопизма, который был для него как художника и мыслителя принципиально неприемлемым.

Известная российская исследовательница творчества автора самой знаменитой негативной утопии XX века писала, что "умирающий Оруэлл сделал вещь для писателя необычную: попытался объяснить, что он хотел сказать своей книгой" [11]. Оказавшись в ситуации во многом схожей с оруэлловской (полемика между представителями "консервативного" и "радикального" лагеря по поводу преимущественно идеологических версий поэмы, упреки в "карикатуре" на Россию), Гоголь предпочел наметившемуся в продолжении "Мертвых душ" откровенному утопизму действительно необычный для писателя путь непосредственного объяснения своих творческих целей. В "Переписке" он делает это "на ясном русском языке". "Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: "Смотрите, немцы, мы лучше вас!" Это хвастовство — губитель всего. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются, — хвастаются будущим!.. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество... к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не

показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе "Мертвых душ", а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен" [9, т.7, с. 91].

Религиозная этика писем Гоголя требует всестороннего анализа, но, очевидно, нравственные выводы писателя не могут быть однозначно противопоставлены мироощущению, лежащему в основе его поэмы. Исходное определение в гоголевской этике — "желание быть лучшим". Качество, которое писатель, исповедуясь перед Россией, счел возможным признать за собой и в котором видел важнейший стимул своего духовного развития. Вера Гоголя в реальность нравственного преобразования человека ценой его личных усилий связана с убеждением, что желание это коренится в самой человеческой природе. (Очень важен, конечно, личностный характер нравственного учения русского писателя, позволяющий ему совершенно избежать отвлеченного морализирования.) Но "желание быть лучшим" — это не универсальный принцип (типа кантовского императива), следование которому обеспечивает моральный прогресс. Гоголь действительно верил в неограниченные возможности морального самовоспитания, категорически отвергая всякие сомнения. "Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль", — столь резко писатель отзывался о представлении, что человек не в состоянии изменить свои сложившиеся ранее черты.

Однако вряд ли кто-нибудь может упрекнуть автора "Мертвых душ" и "Переписки" в том, что он считал этот путь легким. Само по себе стремление к моральному развитию еще не гарантирует исполнения важнейшего гоголевского нравственного завета: "будьте не мертвые, а живые души". Если в сознании и жизни господствует пошлость, то моральная энергия личности, не исчезая (возможность сделать нравственный выбор остается у каждого), выступает в искаженных и превратных формах, происходит процесс омертвления человеческой души. Ответить на вопрос, как и почему это происходит, Гоголь стремился в "Мертвых душах", этому же посвящена и "Переписка". Авторские мысли поэмы о "слабости пощадить себя, но не ближнего", о "страшном черве" в человеке, "самовластно обратившем к себе все жизненные соки" и "заставляющем его позабыть великие и святые обязанности, в ничтожных побрякушках видеть великое и святое", органично соответствуют той этике личности, которая развита Гоголем в "Выбранных местах из переписки с друзьями".

Вне общего контекста идей нравственной философии писателя нельзя оценивать и смысл его отдельных выводов. Мечта Гоголя о нравственном преобразении России в своей основе глубоко гуманна и уже поэтому чужда консервативно-утопическому идеалу жесткой социально-государственной регламентации общественной и личной жизни. В "Переписке" он отстаивал не бюрократическую абсолютизацию ранга и места в социальной иерархии, а пытался доказать возможность моральных действий в любой ситуации: "как на своем месте делать добро".

О том, что безжалостно высмеявший бюрократическое сознание писатель своей позиции не изменил, наглядно свидетельствует его письмо о театре. Понимание



необходимости духовной и творческой свободы Гоголь выражает здесь совершенно ясно, характеризуя ситуацию, когда бюрократ "становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, написанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано... Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главного мастера, а отнюдь не на каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела" [9, т. 7, с. 64]. Эти достаточно известные мысли Гоголя должны быть приняты во внимание при определении того, как он понимал необходимость для каждого быть "на своем месте". Вообще позиция Гоголя была значительно более диалектической, чем она представляется на первый взгляд. Не случайно писатель в том же письме рассматривает "односторонность" как ложный духовный путь, имеющий своим пределом фанатизм, в том числе и религиозный.

Вполне понятно то шокирующее впечатление, которое произвели на многих современников Гоголя основательность и даже скрупулезность некоторых его бытовых советов. В устах столь не житейского человека подобные рассуждения о "мудром" хозяйствовании и тщательной домашней экономии выглядели особенно странно. Но писатель остался верен себе. Постоянный объект его критики — пошлость многолика, но, в сущности, всегда абсурдна. И в простых, житейских формах, и в самых претенциозных запросах пошлость всегда противостоит мудрости (высшему, как, следуя традиции, считал Гоголь, духовному состоянию человека), в том числе и элементарному здравому смыслу. И в "Переписке", и в поэме беспочвенный идеализм в изображении Гоголя столь же нелеп, как и замкнутый, погруженный в "мелочи", но агрессивный в своих претензиях на "правду жизни" бытовизм. В бытовой этике "Переписки" писатель защищает здравый смысл как хотя и ограниченную определенной сферой, но "мудрую" и по своей сути нравственную форму отношения к жизни и от "односторонних" иллюзий житейской рассудочности, и от пренебрегающего реальностью пафоса "высокого" идеализма. Размышления Гоголя в "Переписке" о "делах житейских" продолжают тему, намеченную в поэме: характеристика Маниловой (о "низких предметах"), многочисленные авторские отрицательные моральные оценки "бесхозяйственности". К тому же у гоголевской апологии здравого смысла был вполне определенный адресат. В форме своеобразного диалога соответствующие письма обращены к женщине, и мнение корреспондентки явно учитывается — в книге представлена традиционная для утопической литературы тема общественной роли женщины.

Сатирическое изображение различных вариантов "юркой прыти женского характера" в творчестве Гоголя занимает особое место. Женский тип "пошлого" сознания писатель подверг столь радикальному осмеянию, что на этом фоне многое в новейшей критике женской эмансипации выглядит достаточно бедно. Правда, гоголевская сатира,

касаясь данной темы, всегда сохраняла некоторую юмористическую легкость. Писатель позволял себе смеяться над "галантерной половиной человеческого рода", но надрыва и злости в этом смехе не было. (Требуется немалая фантазия, чтобы увидеть общность гоголевской сатиры с идеями антифеминистов типа О.Вейнингера и его вольных и невольных последователей.)

Когда же Гоголь начинал говорить серьезно (а делал он это не только в "Переписке"), его сожаление о жизни уходящей на "ничтожные побрякушки" и "вытверженные мысли", становилось особенно явным. Впрочем, какого бы то ни было противопоставления "женской" пошлости "мужской" писатель никогда не делал. Оба типа у него всегда имеют "семейственный" характер.<sup>7</sup>

В "Переписке" Гоголь высоко оценивает возможности женского влияния на общественную жизнь, причем уже не столько в плане его повседневных негативных следствий (причина взяточничества и проч.), сколько с точки зрения реальных положительных перспектив. Он пишет о "темном предчувствии" значения женщины, неоднократно утверждает, что "женщины лучше мужчин", что они "скорее способны очнуться и двинуться", "швырнувши далеко свои тряпки". Объяснять выводы писателя только характером переписки (письма адресованы даме) совершенно неверно. Гоголь искренен, о чем свидетельствует в частности то, что развитая в письмах тема особого значения: женской красоты ("красота женщины есть тайна") была ярко обозначена им в поэме ("блистающая радость", вызвавшая даже в душе Чичикова мгновение просветления). Помимо "красоты" Гоголь надеется еще на "женскую мудрость", на тот изначально неотделимый от нравственности здравый смысл, который в мире пошлости нередко принимает нелепые, фантастические черты.

Бытовая этика Гоголя — во многом именно апелляция к женской мудрости, отсюда и; необходимость соответствующего языка. Никакого утопического прожекта по женскому вопросу писатель не предложил. Его взгляды традиционны: благотворное женское влияние на общество он видит в сохранении нравственных основ семьи, в основанном на здравом смысле участии в хозяйственных делах, в общем моральном воздействии на жизнь "света". Однако проблему "женского равенства" писатель ставит по-своему. В его понимании возможность активной роли женщины в духовном прогрессе связана с решением нравственных задач, имеющих, безусловно, общечеловеческий смысл: обретение (фактически сохранение) собственной индивидуальности, личной нравственной позиции ("оставаться собой", "не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите" [9, т. 7, с. 17]).

Может быть, наиболее резкую и в своем пафосе понятную критику вызвали содержащиеся в "Переписке"

---

<sup>7</sup> Гоголевские параллели такого рода удивительны по своей глубине и точности. Замечательно, например, его сопоставление фантастической пародии на здравый смысл, которую представляют "предположения" занятых "общественной" деятельностью "презентабельных" дам г. Н с "мужской" логикой "ученых рассуждений": "Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом...".

замечания о народном образовании: "Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор" [9, т. 7, с. 121]. Гоголю пришлось неоднократно оправдываться и объяснять суть своей позиции. Вопрос этот достаточно ясен, и оснований для вывода, что писатель был противником просвещения собственного народа, нет никаких. Но сама тема образования в творчестве Гоголя играет существенную роль и имеет непосредственное отношение к его идеалу будущего.

"Вздорное" образование, фактически способствующее проникновению пошлости в народную среду, — постоянный объект гоголевской сатиры в "Мертвых душах". Писатель рисует различные последствия возможной духовной деформации. Это и несчастный Петрушка,<sup>8</sup> который имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся, но это и наиболее близкий из гоголевских помещиков к народу "хозяин" Собакевич: "Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку". Может показаться, что в "Переписке" Гоголь рассматривает в качестве единственной альтернативы "мертвой науке" живое слова священника. Но это далеко не так.

В письме о переведенной Жуковским "Одиссее" Гоголь доказывает полезность прочтения этой "языческой" книги всеми слоями русского общества. Помимо совершенно недвусмысленного признания важности грамотности для такой цели, писатель, по существу, характеризует тот тип и уровень духовной культуры, приобщения к которому он желает своему народу. Христианский пафос гоголевских писем несомненен, и вряд ли есть основание усматривать в замечательно выраженной любви писателя к книге Гомера пропаганду утопического идеала "золотого века" язычества. Гоголь писал именно о важности сохранения патриархальных начал нравственности в народной жизни, о живом отношении к прошлому. И очевидно, в подлинном просвещении, в том числе и в приобщении народа к истокам европейской культуры, он видел только благо.

"Выбранные места из переписки с друзьями" — произведение сложное и многоплановое. Было бы неверно игнорировать тот факт, что многое в политических и социальных воззрениях Гоголя как автора "Переписки" отнюдь не оригинально и ограничено общим кругом идеалов его времени. Однако важно, что в книге, сохраняющей органическую связь с предшествующими произведениями писателя, нашли отражение глубокая нравственная философия Гоголя, понимание им собственного творчества и общих целей искусства, своеобразное видение истории. "Переписку" вряд ли можно рассматривать как утопию: художник — и это принципиальная позиция — не предлагает здесь определенного проекта идеального будущего, он стремится вести диалог о возможностях нравственного развития общества, и при этом в

---

<sup>8</sup> В другом гоголевском персонаже — Селифане, называемом "секретарями" своих лошадей, можно увидеть прообраз мучительно обретающих речь героев утопий А.Платонова.

поле его внимания оказываются многие утопические проблемы. В кульминационной точке своей книги писем (в "Светлом Воскресении") Гоголь так же, как и в финале поэмы, утверждает открытость будущего для надежды и веры. Но, не предложив готового утопического образца, писатель сделал нечто более значительное: его художественные образы и идеи определили центральную тему всей позднейшей русской литературной утопии — тему несовместимости подлинного общественного идеала с любыми формами омертвления человеческой души.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Сербиненко В.В. Философская проза В.Ф.Одоевского: "4338-й год" //Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 3. М., 1993. С. 117-135.
2. Morson G.S. The boundaries of genre: Dostoevsky's "Diary a writer" and the traditions of literary utopia. Texas: Univ. of Texas press, 1981. № 4.
3. Гишпиус В. Гоголь. Л., 1924.
4. Гальцева Р., Родянская И., Бибихин В. Обескураживающая фигура / Н.В.Гоголь в зеркале западной славистики // Вопросы литературы. 1984. № 3.
5. Sobel R. Gogol's forgotten book. Washington, 1981.
6. Мережковский Д. Гоголь и чорт. М., 1906.
7. Nabokov V. Nikolai Gogol. Norfolk, Conn., 1944. P. 116.
8. Гоголь Н.В. Авторская исповедь. Псков, 1990.
9. Гоголь Н.В. Соч. Т. 1-10. Спб., 1900.
10. Бухарев Ф. Три письма к Н.В.Гоголю. Спб., 1861. С. 141.
11. Чаликова В.А. "Предсказания" Дж. Оруэлла: Научно-аналитический обзор. М., 1986. С. 13.